

© 1997 г. В. ЖИВОВ, А. ТИМБЕРЛЕЙК

РАССТАВАЯСЬ СО СТРУКТУРАЛИЗМОМ (ТЕЗИСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ)

1. Системность и развитие языка. Обычное представление о языке как о единой системе, в которой все элементы соотносятся друг с другом, предполагает, что любое изменение — это изменение всей системы. Представление о синхронном функционировании языка непосредственно отражается, таким образом, на концепциях его развития. Такая концепция языка связывается обычно с именем Соссюра и его последователей, хотя в данном отношении различия между Соссюром и младограмматиками не слишком велики. В обоих случаях язык рассматривается как органическое единство, которое существует в коллективном сознании в виде абстрактной системы, относительно независимой от прагматики. Младограмматики смотрят на прагматику как на частную помеху в эволюции языка, и Соссюр лишь доводит эту линию до логического завершения, говоря о полной взаимозависимости всех элементов в языке, при котором каждый элемент определяется исключительно своими отношениями со всеми остальными. Подобная концепция приводит к противоречию, поскольку остается неясным, зачем одно равновесное состояние (эквilibrium) постоянно преобразуется в другое равновесное состояние. Либо мы исповедуем вполне скомпрометированную идею прогресса в языке, либо приписываем языку лишенную видимого смысла глобальную телеологию, в соответствии с которой он все время стремится к некоему идеально упорядоченному состоянию, но никогда этого состояния не достигает, а, напротив, приближаясь к нему по одним параметрам, в то же самое время удаляется от него по другим.

2. Язык и речь: абстрагирование системы. Это противоречие возникает в результате неоправданного уровня абстракции в наших рассуждениях о языке и в конце концов отсылает нас к той дихотомии языка (*langue*) и речи (*parole*), которой мы обязаны тому же Соссюру. Соссюр утверждает данную дихотомию в своем стремлении избавиться от хаоса, который царствует в наблюдаемой речевой деятельности. *La langue* расправляется с *la parole*, торжествуя над вариативностью и нерегулярностью, характеризующими, с точки зрения Соссюра, речь в целом и индивидуальное речевое поведение в особенности. С этой целью язык и постулируется как абстрактная система, избавленная от неупорядоченности речи. Само по себе, однако, это не решает всех проблем, поскольку абстрактная система как таковая, избавляя от хаоса, приводит к метафизике. Язык (*langue*) оказывается метафизической сущностью и в силу этого возвращает филологию к тому самому состоянию, которое представлялось одиозным с первых шагов "научного" исторического языкознания, противопоставлявшего себя метафизике Лейбница, Вольфа и Аделунга. Тем самым бегство от хаоса вступает в противоречие с бегством от метафизики.

Решение этой проблемы Соссюр (и поколения после него) находит в указании на системность языка и на социальную природу этой системности. Речевая деятельность (*usage/parole*) трактуется как несовершенное (испорченное) отражение языка (*langue*), существующего в сознании идеального носителя, а этот идеальный носитель, в свою очередь, отождествляется с коллективным бессознательным. Эти два взаимосвязан-

ные приема позволяют Соссюру (так же как и Дюркгейму в социологии) избавиться от хаоса в языке и вместе с тем сохранить позитивистский дискурс, подменив метафизику социальной природой языка. Социальность, однако, сводится к произвольному характеру языкового знака, который понимается как социальная конвенция. Социальность приписана как внешний (рационализирующий) атрибут к (нео)платоническому эйдетическому (метафизическому, ноуменальному) пониманию языка и по существу представляет собой модернизирующую рационализацию метафизического представления о системности сознания. Языковая деятельность относится в этом случае к миру теней – отражений эйдетической реальности, ничего в этой реальности не меняющей.

Какими бы очевидно сомнительными ни были эти исходные установки, они были восприняты последующим языкознанием и сформировали господствовавшую в течение более полувека структуралистскую парадигму. Этот успех понятен. Такой подход позволял трактовать язык как часть "природы", превращая языкознание если не в *Naturwissenschaft* в прямом смысле этого термина, то в своего рода мост, соединяющий *Geistwissenschaften* с *Naturwissenschaften*. Это позволяло обособить (хотя бы и неправомерно) системные аспекты языковой деятельности и изучать их как самодостаточное целое. Такое изучение было плодотворно, многообразно и перспективно, и существенная часть наших знаний о языковой деятельности была получена именно в результате структуралистских исследований. Недостаточность, ограниченность и догматичность структурализма уяснились в научном сознании лишь постепенно, и этот процесс никак нельзя считать завершившимся.

3. Системность и прагматика. При соссюровском (структуралистском) подходе социальное и культурное измерение языка в сущности игнорируется, причем игнорируется в двух аспектах. С одной стороны, конструируя язык как абстрактную систему, принадлежащую коллективному бессознательному всей совокупности носителей, данный подход отвлекается от дифференциации, обусловленной принадлежностью носителей к разным социальным группам, их множественной идентичностью, реализующейся, в частности, в смене языкового поведения в зависимости от социальной роли, их приверженностью к разным культурным традициям и т.д. С другой стороны, подобной же редукции подвергается интерактивная, диалогическая природа речевой деятельности, ее прагматический аспект, а вместе с этим и все те феномены, которые с этим связаны и которые предполагают в самой своей дефиниции различение говорящего и слушающего. Язык в соссюровской традиции статичен, и поэтому в рамках подобной концепции нет возможности описать те структурные характеристики языка, которые указывают на развертывание коммуникативной ситуации во времени. Поскольку сюда относятся местоимения, вид (как дискурсивная категория), время и т.д., т.е. все категории-шифтеры, язык при соссюровском понимании социальной природы оказывается призраком, лишенным не только плоти, но и скелета.

Приведем пример. В диалектологии хорошо известны относительно многочисленные случаи, когда жители одной деревни (или одного города) являются носителями разных говоров: часто это распределение имеет пространственные границы: на одном конце употребляют диалект А, на другом – диалект В. В большинстве случаев исследователь просто отмечает, что граница проходит внутри населенного пункта, а соответствующие говоры описывает как отдельные системы (и в соответствии с этой задачей исследователь строит свою работу с информантами). Между тем очевидно, что жители одной деревни находятся в постоянном общении, обуславливающем дифференциацию языкового поведения. Характер дифференциации может быть различен, но чаще всего диалектная разновидность, употребляемая во внешнем общении (между представителями двух групп) будет отличаться от разновидности, употребляемой в общении внутреннем, и обе эти разновидности могут не совпадать с той, которая реализуется в общении с внешним миром (с приезжими, "чужими").

Так, в Южном Уэльсе в отдельных ареалах (и отдельными носителями) употребляется [ɛ:] в соответствии с [a:] остальных уэльских диалектов. В небольшом селе Понт-рид-и-фен, растянувшимся на несколько километров, на уэльском продолжает говорить в основном лишь старшее поколение и только женщины старше пятидесяти употребляют [ɛ:] (см. социалингвистическое описание [Thomas 1989]).

Употребление этой фонемы зависит от того, на каком конце села живут носители и к какой из протестантских церквей они принадлежат – для указанной категории носителей религиозное собрание является центром социального общения. Женщины, принадлежащие к Конгрегационной церкви и живущие на западном конце села, редко употребляют [ɛ:], тогда как методисты и баптисты с восточного конца употребляют данную фонему относительно регулярно. При этом баптисты употребляют [ɛ:] как в неформальном стиле, так и в формальном (во время беседы с исследователем – единственным, к сожалению, зафиксированном образце формального стиля), методисты, однако же, столь же часто употребляют [ɛ:] в неформальной речи, но никогда не пользуются этой фонемой в формальном стиле, в частности, при общении с лицами, не принадлежащими к их социуму. Это объясняется тем, что методисты поддерживают более широкие контакты с внешним миром, тогда как баптисты более замкнуты. Каковы бы, однако, ни были конкретные объяснения, граница между диалектами оказывается прочерченной не в пространстве, а внутри языковой деятельности одного языкового социума. При этом фонологическая система оказывается зависимой от ситуации речи, определяемой социальным статусом участников, или, вернее, фонологическая система существует в двух разновидностях. Попытка исследователя избавиться от этой вариативности, реконструировав безвариантную систему, а отбрасываемый вариант интерпретировать как незначимое (в системном плане) отклонение, не может рассматриваться как адекватное описание реального узуса. Стремление исследователя к системности заставляет его в этом случае игнорировать социальные параметры языковой активности, т.е. ту самую социальную природу, которая рассматривается как основание этой системности.

4. Активная роль носителя. Если не исходить из предпосылки системности, то языковая деятельность оказывается более активна по отношению к "языку", носитель перестает быть просто медиумом, стоящим между языком и речью, и социальная природа языка приобретает конкретные очертания, будучи обусловлена активностью носителя как члена языкового социума. От носителя зависит, что именно реализуется в его речи, какие элементы языка он востребует из своего языкового опыта, имея дело с той или иной ситуацией. Наиболее очевидный случай этого вмешательства носителя – поведение билингвы. Он не только выбирает, какую из систем реализовать, но и комбинирует их в единую суперсистему (или лучше конгломерат), отождествляя подобные части, а неподобные подсоединяя (приспосабливая) к этому отождествленному ядру. Застывший продукт такого поведения – креолизованные языки.

Можно, однако, полагать, что это лишь крайние случаи, но что по существу всякое языковое поведение – это поведение билингвы, а всякий язык – конгломерат регистров. Принципиальной границы между билингвизмом и монолингвизмом нет, поскольку гетерогенность (соотнесенность с разными подсистемами) присутствует у любого индивида и в любом языковом коллективе. Проводимое обычно различие между билингвизмом и монолингвизмом опирается на представление о языках как законченных идеальных системах, о неадекватности которого сказано выше. Отсюда вытекает два вывода. Во-первых, речевое поведение не может быть описано как односторонний процесс порождения – от абстрактной системы к механическому результату действия правил. Описание речи (текста) требует установления тех факторов (социальных, культурных, прагматических), которые обуславливают смену регистров, т.е. выбор тех или иных правил, необходимых для осуществления определенного ситуационного задания. Во-вторых, сам язык (порождающий механизм) не может быть описан как единая система, и описание должно прежде всего фиксировать набор существующих в языковом опыте регистров и характер их сочетаемости. Стратегия языкового поведения носителя состоит в смене подсистем (регистров), сосуществующих в его сознании не только в случае билингвизма, но и в тех условиях, которые мы привыкли описывать как монолингвизм.

Пример зависимости узуса от ситуации речи можно найти в исследовании У. Лабова, посвященном социалингвистическому описанию звуковых изменений на острове Мартас Вайнйард (Массачусетс). Лабов показывает, что дифтонгам американского английского [ai] и [au] в говоре данного острова могут соответствовать [эi] и [эu], варьирующие с последними. Среди постоянного населения острова соотношение дифтонгов [эi] и [эu] в пропорции к [ai] и [au] стабильно возрастает от старших возрастных групп к младшим. У. Лабов делает отсюда справедливый вывод, что мы наблюдаем здесь фонетическое изменение в его протекании и что мотивировано это изменение социальными факторами – стремлением местных

жителей продемонстрировать, что именно они, а не приезжающие отдыхать богатые горожане, составляют настоящее население острова и что им он и принадлежит. Лабов не сообщает фактов, которые указывали бы на зависимость данной вариации от ситуации речи (состава участников коммуникативного акта), однако среди его примеров есть рассказ местного рыбака о своей замечательной собаке, в котором подобная вариация представлена. Он рассказывает (и эта часть представляет собой, видимо, нейтральное общедоступное повествование), что бывало ронял нож ([naif]) или носовой платок и собака за четверть мили приносила их; затем он воспроизводит свое обращение к собаке (которая может рассматриваться как своеобразный "местный житель"): "Ну-ка принеси! Где я потерял этот нож ([naif])?" [Labov 1963: 290]. Таким образом, хотя бы в каких-то случаях вариация зависит от ситуации речи, от того, какой вариант языкового поведения выбирает говорящий.

Понятно, что подобные данные могут интерпретироваться по-разному, и мы можем продолжать говорить о системе, существующей в коллективном сознании (например, системе с дифтонгами [ai] и [au]), и об отдельных отклонениях от нее в языковой практике отдельных носителей или в отдельных речевых ситуациях (например, когда употребляются дифтонги [ai] и [au]). Эти отклонения в таком случае понимаются как своего рода помехи, искажающие идеальное функционирование системы. Проблема, однако, в том, что исследователь в подобном случае конструирует систему по своему усмотрению, приписывая системность одной части материала и игнорируя другую его часть (порой не меньшую по объему). Независимость языка от языковой деятельности носителя возникает, тем самым, за счет активности исследователя.

5. Регистры и стратегии языкового поведения. Социальная природа языка относится прежде всего к стратегиям языкового поведения (или риторическим стратегиям), которые соотносят выбор регистра с ситуацией речи (устной или письменной), определяемой в терминах конвенциональных для данного языкового (культурного) коллектива. Набор ситуаций соотнесен с набором языковых регистров (соотнесение может быть неоднозначным), так что характер "полилингвизма" данного языкового коллектива оказывается важнейшей его культурологической характеристикой. Эта характеристика имеет непосредственное отношение и к социальному членению общества (его иерархической структуре), поскольку для разных социальных групп доступен разный набор регистров, равно как и разный набор ситуаций.

Так, рассматривая структуру регистров в английской и русской языковой ситуациях XVII в., можно отметить, что в Англии этого времени канцелярский (юридический) язык и язык быстро развивающейся журналистики представляют собой два разных регистра, отличающихся и своими синтаксическими характеристиками, и лексикой, и способами построения текста; в Московской Руси, между тем, как показывают прежде всего "Вести-куранты", такого противопоставления нет и начинающаяся журналистика использует канцелярский (приказной) язык, т.е. ситуации создания документа и фиксации текущей информации для публичного потребления в лингвистическом отношении не различаются. Культурологические выводы, которые можно сделать на этом основании, достаточно очевидны. Не менее значимы и выводы социальные: "Вести-куранты" адресованы той же социальной группе, что и деловая документация, и только эта группа обладает необходимыми лингвистическими навыками для освоения подобных текстов. Таким образом, в Москве XVII в. секулярная информация образует единое целое и подчинена социальной стратификации общества, тогда как в Англии эта информация дифференцирована и в существенных своих частях обращена к нескольким стратам читающего социума.

При подобном подходе выбор регистра или, точнее, множество операций, которые адресант производит с регистрами (выбор, смена, наложение одного на другой) выступает как наиболее существенная социальная характеристика речевой деятельности. И в этом случае мы оказываемся лицом к лицу со сферой, по большей части игнорируемой современным языкознанием. Экспериментальные социолингвистические исследования даже в лучших своих образцах (как, например, цитированная выше работа У. Лабова) соотносят черты языкового поведения со статистическими параметрами изучаемого социума (социальные классы, возрастные группы, этническая принадлежность, пол и т.д.). При такой методологии оказываются вне сферы внимания исследователя или в принципе отрицаются те ситуации, в которых носитель языка переключается с регистра на регистр или вообще стремится приспособить свои языковые навыки к конкретной и порой нестандартной коммуникативной ситуации. Идентичность, возможно, помимо намерений исследователя, статистически закрепляется за говорящим, и та обширная область поведения, в которой идентичность оказывается предметом неговоривания (когда, допустим, чиновник пытается говорить, как мужик, или мужик пытается говорить, как чиновник), выпадает из рассмотрения. Очевидно, например, что параметры речи определяются не столько возрастной группой говорящего.

сколько тем, являются ли участниками речевой ситуации сверстники или представители разных возрастных групп. Исследование, таким образом, уходя от метафизической "социальности" Соссюра, в самой своей методике возвращается к идеализованной социальной статике, к представлению о статическом единстве языкового поведения социального субъекта.

Характерно, что в своем социалингвистическом описании звуковых изменений на острове Мартас Вайнйард, Лабов указывает, что речь большинства носителей в исследуемом социуме не зависит, по крайней мере в фонетических характеристиках, от стилистических параметров ("The majority are essentially single-styled speakers" – [Labov 1963: 290]). Насколько это и в самом деле так, а насколько вывод обусловлен методикой исследования, остается неясным.

6. Регистры и взаимозависимость элементов языка. Наличие многих регистров как способа существования языка ставит вопрос о том, что такое грамматика (или языковая система). Регистр фрагментирует язык, например – тривиальным образом, – в регистрах письменной речи может отсутствовать фонетический уровень (для тех типов текстов, которые не предназначены для чтения), так что, переходя от представления о единой языковой системе к представлению о регистрах, мы с необходимостью отказываемся от тезиса о взаимозависимости всех элементов в языке. Точно так же в регистре, соотношенном с повседневным диалогом, и в регистре, соотношенном с ритуализованным нарративом, могут различаться и многие синтаксические структуры, и система времен, и реализация видовых оппозиций, тогда как на фонетическом уровне между ними может иметь место тождество. При этом в каждом из регистров (в частности, при разных "режимах интерпретации" – см. [Падучева 1996: 258–261]) ряд синтаксических структур и система времен будут связаны, а фонетические элементы существовать сами по себе, вне этих зависимостей. Можно сказать, таким образом, что у разных регистров разная грамматика, и о грамматике языка в целом мы говорим лишь условно, как о совокупности общих характеристик грамматик отдельных регистров. Во многих случаях описание грамматики языка как целостности удобно, и нет основания этот способ отвергать. Однако, делаясь принципиальной установкой, стремление утвердить единую грамматику (например, с помощью понятия "канонической речевой ситуации", как это делает Дж. Лайонз [Lyons 1978]) побуждает игнорировать относительную автономность регистров, возможность их разного устоя.

С такой установкой, в частности, связано и представление о письменном языке как своего рода паразитическом наросте на языке устном (реализующемся в "неканонической" речевой ситуации). Если все уровни языка соединены необходимой связью, "естественный" язык должен обладать фонетикой, а язык без фонетики (или с "вторичной" фонетикой, фонетикой чтения) существует лишь как вторичное образование; эта вторичность обнаруживается и в том, что существуют языки (целостные системы) без письменности, но не существует языков без фонетики. Между тем навыки письменного употребления и навыки устного употребления различаются и по характеру усвоения, и по своим системным качествам. Если навыки устного языка усваиваются в процессе устной коммуникации, то навыки письменного языка – в процессе чтения. В силу этого в основе письменных и устных разновидностей языка лежит принципиально разный лингвистический опыт, и это само по себе обуславливает их относительную независимость друг от друга. Опыт устного языка по большей части ситуативен и диалогичен, опыт письменного языка предполагает, как правило, завершенность сообщения и возможность повторного обращения к нему. В соответствии с этим различается и построение устных и письменных текстов (их риторические стратегии), что отражается и на синтаксисе, и на семантике, и на морфологии. Можно полагать, таким образом, что развитие письменности создает особый набор языковых регистров, практически не имеющих аналогий в бесписьменных языках (если не считать таких маргинальных сфер устного узуса, как ритуальный нарратив). Историческая вторичность письменных регистров никак не означает их производности и несамостоятельности в языковой деятельности социума, обладающего письменной культурой.

Более того, в языках с письменной традицией имеет место взаимодействие устного и письменного начал как равноправных составляющих языкового опыта, определяющих лингвистические параметры отдельных регистров. Так, у восточных славян начало письменной традиции связано с возникновением конфессиональной письменности, в основе которой лежат переводы с греческого и которая в силу этого обладает сложной риторической организацией, сформировавшейся в рамках многовековой византийской письменной традиции. Возникновение письменной традиции дает толчок для развития сначала бытовой, а затем и деловой письменности (о параметрах этого процесса см. [Franklin 1985]), представленных прежде всего в берестяных грамотах. Бытовая берестяная письменность комбинирует письменное и устное начала совершенно иным образом, чем письменность конфессиональная. Синтаксис берестяных грамот в существенной степени ситуативен, т.е. реализует устное начало, и этим, видимо, определяется многочисленность диалектных (разговорных) элементов в морфологии и фонетике. Однако неправомерно было бы рассматривать бытовые берестяные грамоты как непосредственную фиксацию устной речи. Они обладают риторической законченностью и, следовательно, достаточно жесткой текстовой организацией (см. [Зализняк 1987]), что реализует в них письменное начало и, надо думать, обуславливает появление отдельных неразговорных элементов в синтаксисе, морфологии и фонетике. Данное взаимодействие и определяет специфику регистра бытовой письменности. Вообще говоря, различное сочетание письменного и разговорного начал может становиться предметом достаточно сознательной стратегии пишущего, ставящегося себе специфические риторические (эстетические) задания, как это можно видеть в Кентерберийских рассказах Чосера или в Житии Авакума.

7. Взаимозависимость элементов и абстрактность описания. Представление о взаимозависимости элементов в системе языка влияет на характер их описания. Поскольку здравый смысл подсказывает, что никакой явной связи (типа изоморфизма, о котором писал Курилович [Kuryłowicz 1960]) между, например, набором гласных и набором падежей нет, описание стремится к более абстрактному уровню, на котором здравый смысл не действует, переходит, если угодно, от арифметики к алгебре (ср. устойчивую соссоровскую метафору шахмат). Связь постулируется на том уровне, который не поддается верификации (на уровне глубинной структуры или семантических и фонетических дифференциальных признаков), и это абстрактное построение приписывается языковой компетенции носителя языка. Такая абстрактная установка (в каких-то случаях, возможно, оправданная) уводит в сторону от идеи эмпирического (психологического) правдоподобия при описании функционирования языка. Отсюда и в истории языка место поиска конкретных мотиваций занимает идея бесконечной эволюции системы, изменчивость которой является ее имманентным свойством.

В старой грамматической традиции части речи определялись прежде всего через семантические параметры: существительное обозначает предмет, глагол – действие, прилагательное – качество. Позднейшее развитие лингвистики дискредитировало этот способ определения, либо выдвинув на первый план морфологические и синтаксические признаки, либо превратив семантическую дефиницию в более сложную, но вместе с тем и лишенную самоочевидности логическую конструкцию. Существительные, скажем, стали обозначать не только предметы, но и действия или качества, которые, будучи обозначены существительным (*бег, белизна* и т.п.), получили "предметность" – свойство, вряд ли принадлежащее языковой или когнитивной компетенции носителя, не поддающееся ясному определению и потому компрометирующее саму идею семантической дефиниции. Сколь бы ни обоснованно было синтаксическое и морфологическое определение частей речи, первоначальная примитивная семантическая конструкция соответствовала некоторой психологической и лингвистической реальности. И синтаксические роли, и (во флективных языках) морфологические свойства основных классов слов определяются для носителя посредством ядерных семантических соотношений: обычный (т.е. относящийся к ядру класса) глагол обозначает действие и выполняет роль предиката, актанты которого обычно обозначают предметы и представляют собой существительные. Эти базовые соотношения обуславливают, в частности, механизм заимствования (который позволяет наблюдать динамику языка): новые слова получают при усвоении характеристику одного из основных классов (частей речи), и определяющим в этом процессе является, видимо, именно семантика заимствованного элемента. Так, скажем, русское несклоняемое прилагательное *беж* (из фр. *beige*) воспринимается как прилагательное именно в силу того, что обозначает качество, и это восприятие отчетливо проявляется в появлении синонимического образования с эксплицитными параметрами прилагательного (*бежевый*).

8. Гетерогенность языка и значение трафаретов. Мы не знаем, в каком виде существуют языковые категории в сознании носителя языка, но этот вопрос не должен быть безразличен для лингвистики. Нет никаких оснований думать, что способ их существования совпадает со способом их представления в традиционных описательных грамматиках (включая генеративные). Такой способ существования слишком абстрактен; если бы он лежал в основе языковой деятельности, было бы непонятно, как осуществляется взаимодействие между "грамматикой" и узусом. Как для таксономической грамматики, так и для различных генеративных моделей текст представляется однородным. Все его элементы порождаются единым абстрактным механизмом и в этом смысле обладают одинаковым статусом. Между тем любое обращение к речевой деятельности как конкретному психическому процессу показывает, что это не так. Разные фрагменты текста порождаются с разной степенью автоматизма, так что на одном полюсе мы наблюдаем прямое воспроизведение речевых формул, повторяемых в своей целостности (и потому не требующих, например, морфологического синтеза), а на другом – активный поиск вербальных форм, которые нужны для осуществления данного коммуникативного задания. Очевидно, что в двух этих случаях механизмы, производящие текст, существенным образом различны, и реальное языковое поведение (а тем самым и язык) не может быть описано без учета этого различия. Между обозначенными выше полюсами располагаются различные уровни автоматизма, которые также требуют фиксации.

Автоматизм действует на разных уровнях. Речевые формулы представляют лишь крайний случай, когда автоматизм распространяется на все уровни – и синтаксис, и морфологию, и словарь и даже фонетику. В других случаях воспроизводимые элементы имеют более общий характер. Скажем, когда перед говорящим в ситуации бытового диалога стоит задача сообщить, что определенное лицо совершило определенное действие, говорящий не стоит перед выбором между активной и пассивной конструкцией, а воспроизводит то построение, которое стандартным образом употребляется в подобных ситуациях, т.е. активную конструкцию; синтаксическая синонимия существует здесь лишь для исследователя, апеллирующего к "языку в целом", а не для говорящего. Говорящий же пользуется схематическими образцами или трафаретами (templates). Схематический образец (трафарет) задается набором признаков (формальных и функциональных), которые однозначно определяют прототипические примеры (tokens), усвоенные носителем при овладении языком. Большинство коммуникативных ситуаций стандартно, так что существенная часть речевой деятельности производится с помощью трафаретов; соотношение "трафаретной" и "нетрафаретной" части зависит, надо думать, и от социальных параметров, и от типа коммуникации. Там, где трафареты не действуют напрямую, говорящий может пользоваться существующими, приспособляя их к той специфической ситуации, с которой он имеет дело. В этих нестандартных случаях возникает конкуренция различных трафаретов, изменение одного под влиянием другого и т.д. В ходе такого процесса появляется вариативность и формируются новые более частные трафареты, обслуживающие те ситуации, которые ранее были нестандартными. Узус предстает при этом как результат постоянного выбора и взаимного приспособления имеющегося у носителя набора схематических образцов и последовательности ситуаций, которые должны стать предметом сообщения.

Трафареты работают на разных языковых уровнях, в частности, в фонетике и фонологии столь же явственно, как в морфологии и синтаксисе. Примером функционирования трафаретов в процессе фонологических изменений может служить переход *e > o в восточнославянском.

В период, когда происходило падение редуцированных, сочетания согласных и гласных подчинялись принципу слогового сингармонизма. Согласные были непалатализованными (возможно, были веляризованными) перед задними гласными (трафарет [C°V°]) и палатализованными перед передними гласными (трафарет [C'V']). Гласные, по крайней мере передняя средняя гласная /e/, варьировали в зависимости от качества согласного и гласного следующего слога: /e/ была продвинута вперед перед палатализованными согласными и передними гласными (трафарет [C'εεC'V'] или, возможно, [C'ε₁C'V']), но обладала дифто-

нгическим произношением в ином окружении (трафарет $[C^{\xi} \text{э} \text{э} C^{\circ} V^{\circ}]$); понятно, что имеется в виду не однозначная фонетическая форма, но некое среднее или нормативное из набора вариантных реализаций, различающихся степенью дифтонгизации и палатализации.

Представляет интерес последующая эволюция второго из этих трафаретов, трансформирующегося в ходе кристаллизации других трафаретов [Andersen 1978]. Кристаллизация происходит после того, как пали редуцированные, оппозиция твердых и мягких согласных сделалась различительной и в силу этого требующей более четкой фонетической манифестации, а $[a] - [\bar{a}]$, $[i] - [\bar{i}]$, $[u] - [\bar{u}]$ стали восприниматься как варианты одной фонемы. При этом создались условия для перераспределения иерархических отношений внутри трафаретов. Одна из возможностей подсказывалась эволюцией того трафарета, который действовал для сочетаний мягких согласных с последующей гласной нижнего подъема. Переход между двумя звуками стал восприниматься здесь как манифестация мягкости согласного, что могло приводить к смещению вершины слога (а возможно вместе с тем интенсивности и относительной длительности): $[C^{\xi} \text{ä} \text{ä} C^{\circ} (V^{\circ})]$ превратилось в $[C^{\bar{i}} \text{ä} \text{ä} C^{\circ} (V^{\circ})]$. Если трафарет для $/e/$ трансформировался по данному сценарию, то выглядело это следующим образом: $[C^{\bar{i}} \text{е} \text{э} C^{\circ} V^{\circ}] > [C^{\bar{i}} \text{е} \text{э} C^{\circ} V^{\circ}]$ (например, $*led\bar{e} > [l^{\bar{i}} \text{е} \text{э} C^{\circ}]$ или, в более привычном виде, $[l^{\bar{i}} \text{э}]$, что и составляет переход $*e > o$. Другой сценарий давало развитие трафарета с сильной палатализацией перед исходным $*i$ $[C^{\bar{i}} \text{і} \text{і} C^{\circ} (V^{\circ})]$ (например, $*pil\bar{e} > [p^{\bar{i}} \text{і} \text{і} C^{\circ}]$). Следование этому сценарию означало сохранение переходного сегмента к последующему твердому согласному именно как переходного (т.е. $[э]$, а не $[э]$), что предполагало и сохранение передней гласной как вершины слога.

Основная часть будущих русских говоров пошла по первому пути, если иметь в виду ударный слог (относительно большая длительность которого создавала благоприятные условия для дифтонгизации): в безударных слогах в большей части говоров осуществлялся второй сценарий, т.е. переход $*e > o$ отсутствовал. В украинском ареале, напротив, трафарет для $*e$ эволюционировал по $*i$ сценарию, т.е. переход $*e > o$ не имел места (кроме позиции после шипящих, в которой переход осуществился, видимо, еще до падения редуцированных и объясняется иными факторами). Более того, мягкость перед $*e$ была утрачена, что можно рассматривать как естественное развитие того же трафарета. В соответствии со вторым сценарием в трафарете $[C^{\bar{i}} \text{е} \text{э} C^{\circ} V^{\circ}]$ $[e]$ сохранялось как вершина слога, а $[э]$ как переходный сегмент; можно предположить, что вершина смещалась при этом к началу слога, так что переход от $[C]$ к $[e]$, манифестировавший мягкость согласного, сокращался до столь незначительной величины, что переставал восприниматься как значимый: $[C^{\bar{i}} \text{е} \text{э} C^{\circ} V^{\circ}] > [C^{\bar{i}} \text{е} \text{э} C^{\circ} (V^{\circ})] > [C^{\bar{i}} \text{е} \text{э} C^{\circ} (V^{\circ})]$. Таким образом, хорошо известная история восточнославянского перехода $*e > o$ может быть реинтерпретирована как последовательный ряд процессов, в результате которых амбивалентная последовательность $[C^{\bar{i}} \text{е} \text{э} C^{\circ} (V^{\circ})]$ была подведена под один из кристаллизовавшихся трафаретов ($*Ci\bar{e}$ или $*Ci\bar{e}$).

9. Трафареты и ситуации. В процессе взаимного приспособления образцов и ситуаций могут выбираться различные комбинации, поскольку ситуация во многих случаях не диктует однозначного выбора, но допускает использование нескольких трафаретов, каждый из которых с той или иной долей несовершенства выполняет коммуникативное задание. Ситуации и трафареты взаимодействуют как вызов и ответ на него (challenge and response). Отдельные комбинации могут быть окказиональными, связывающими знакомый носителю трафарет с не совсем подходящей к нему ситуацией. Закрепленный за данным трафаретом набор признаков при этом меняется. Именно такие окказиональные комбинации могут получать новую функциональную значимость и становиться в силу этого новыми трафаретами, характеризующимися новым набором признаков. Таким образом, изменения в языке могут пониматься как результаты взаимодействия новых коммуникативных заданий (новых ситуаций) и существующего набора трафаретов, так что обращение к истории языка позволяет увидеть механизмы языкового сознания в действии и отсюда реконструировать эти механизмы.

То, как работают трафареты, может быть проиллюстрировано на примере развития категории одушевленности в древнерусском, имеем в виду употребление родительного в функции винительного у существительных м. рода о-склонения. При глаголах любой семантики, управляющих винительным, с неодушевленными объектами употребляется трафарет, в котором винительный тождествен именительному $\{V_{\text{вин.}}^{(\text{любой})} N_{\text{вин.}=\text{им.}}^{(\text{неодуш.})}\}$. Новый вин. = род. сделался ко времени первых письменных памятников вполне регулярным при глаголах, обозначающих изменение состояния лица, фигурирующего в контексте индивидуальным образом: $\{V_{\text{вин.}}^{(\text{изменения})} N_{\text{вин.}=\text{род.}}^{(\text{личностный\&индивид.})}\}$. Примеры из Лаврентьевской летописи: $\text{муж}^{\text{д}}$

твоего оуѣнхѡмъ (s. a. 6453, l. 15); Володимеръ цѣловавъ врата своего и поиде Перетаславлю (s. a. 6611, l. 93"). Если не полагать, что "вариативность беспредложных ВП и РП в древнерусском языке не обуславливалась ни семантическими, ни грамматическими, ни какими бы то ни было другими факторами" [Крысько 1994: 166], представляется, что узус в целом не укладывается в эти два полярно противостоящие трафарета. Существуют дополнительные факторы – или трафареты – определяющие дистрибуцию вин. = им. и вин. = род. В частности, старая форма сохраняется, когда в высказывании сообщается, что наступила ситуация, касающаяся объекта, представляемого не индивидуально, а в качестве одного из членов множества. Во фразе и приа градь · и посади мужъ сво" (s. a. 6390, l. 8) Олег создает ситуацию (нового правления), участником которой является лицо (мужъ), полностью определяемое отношением к Олегу и потому лишенное индивидуального существования. В этом случае дополнительный трафарет имеет вид: $\{ \sqrt{\substack{\text{ситуационный} \\ \text{вин.}}} N_{\substack{\text{личностей} \\ \text{вин.}=\text{им.}}} \text{одни из множества} \}$, где транзитивные ситуационные глаголы являются по преимуществу глаголами типа посадити и послати. Можно предположить, что этот трафарет развивается как промежуточный между двумя основными в силу того, что следование второму из них, рассчитанному на личные индивидуальные существительные, придавало бы статус индивидуальности чисто функциональному обозначению.

Узус может маневрировать между устойчивыми моделями, и в этом случае действие стихийные стратегии экстраполяции. Выбирая грамматическую форму, носитель должен решить, какие аспекты ситуации подавать как сами собой разумеющиеся, а какие требуют особого выделения. Примером может служить рассказ о продлении договора между Новгородом и князем. Новгородцы были недовольны князьями из рода Святополка (не хочѣтсѡполка ни сна кѡ) и указывали, что сами въскормили есмъ събѣ князѣ. Хотя въскормити не является обычным ситуационным глаголом, употребление вин. = им. показывает, что доминирует именно ситуационное прочтение: мы создали ситуацию, в которой имеется лицо, могущее функционировать как князь. Такое прочтение достаточно специфично, и поэтому неудивительно, что в других летописях (Ипатьевская, Радзивилловская) появляется иной вариант: оуѣскормили есмъ събѣ князѣ. (ср. подробнее [Тимберлейк 1996]). Трафареты, таким образом, не детерминируют узус однозначно, а создают набор интерпретативных вариантов, которые служат и пишущему, и читающему, и в силу своей динамичности создают основу для переосмысления вариантов, а отсюда и для языковых изменений.

10. Трафареты и традиции (линии преемственности). Как уже говорилось, языковой опыт носителя компартиментализован. Как отдельный носитель, так и различные социумы внутри языкового коллектива сталкиваются лишь с какой-то частью узуса данного языка. Если говорить об устном узусе, представляется очевидным, что, например, у крестьянина образуется иной языковой опыт, чем, скажем, у члена столичной бюрократии. Они пересекаются лишь частично, и из этого следует, что для разных социальных групп существуют разные наборы трафаретов. Точно так же обстоит дело и с письменным узусом. Разные группы носителей читают разные тексты, так что и здесь создаются разные линии преемственности, определяющие разные наборы трафаретов. Отсюда следует, что и изменение трафаретов (возникновение новых трафаретов) происходит прежде всего в рамках отдельных традиций (линий преемственности). В рамках этих традиций появляются новые ситуации и новые риторические стратегии, создающие стимул к изменению трафарета, и в этих же рамках происходит конвенционализация отдельных окказиональных трафаретов. Таким образом, рассуждая о том, когда происходит (или начинается) то или иное изменение, мы должны указать, о какой именно традиции (линии преемственности) мы говорим.

Именно в этих концептуальных рамках следует, видимо, рассматривать судьбу простых претеритов в восточнославянском. Обычно основной вопрос, который решают исследователи, состоит в том, когда простые претериты исчезли из языка. Имеется в виду, понятно, разговорный язык, т.е. как раз та языковая традиция, для которой прямые свидетельства отсутствуют. Такой подход имел бы смысл, если бы все, что происходит вне разговорного узуса, имело бы вторичный характер, т.е. воспроизводило бы, с той или иной оттяжкой во времени, процессы, имеющие место в разговорном языке. Это означало бы, что "органическая" преемственность присуща исключительно разговорному языку, а об автономной преемственности в других языковых традициях говорить неосмысленно. Выше уже обсуждалось, почему подобный подход не может считаться реалистичным. В такой ситуации осмысленно прежде всего исследовать динамику употребления простых претеритов и отношение этого употребления к речевой стратегии носителя в тех традициях, которые поддаются прямому наблюдению.

Так, Е. Кленин, исследуя употребление перфекта в Лаврентьевской летописи, пришла к выводу, что только в древнейшем слое летописи он обозначает исключительно результатив (безразлично в отношении к настоящему или прошлому), тогда как далее перфект встречается и в суммирующем значении, и вообще при обозначении действия, исключенного из нарративной цепи событий (вытесняя в этой функции имперфект) [Klenin 1993]. Такая динамика естественно описывается как последовательное переосмысление трафарета, при котором на каждом следующем этапе он осмысливается более широко: результатив как частный случай суммирования, суммирование как частный случай отступления от нарративной последовательности. Далее эта летописная традиция может развиваться в двух направлениях: по пути дальнейшего расширения функций перфекта, когда он начинает употребляться и для обозначения событий в нарративной последовательности (такое развитие представлено в последней части Лаврентьевской летописи и находит продолжение во многих других летописных памятниках) или по пути ограниченного употребления перфекта и расширения функций аориста, осмысляемого, видимо, как стилистический вариант перфекта и в силу этого распространяющего область своего функционирования на значения, не связанные с нарративной цепочкой. Ни один из этих процессов не сводится к отражению устного узуса или к постепенной реализации изменения, произошедшего в этом узусе (ср. [Живов 1995]).

Иную динамику демонстрирует традиция делового языка. В ранних текстах аорист появляется в формулах, а также окказионально вне формул. В дальнейшем употребление аориста ограничивается только формулами (типа *се купи, се заложи*), которые осмысляются, видимо, как характеристика типа документа. И в этом случае наблюдаемое развитие вряд ли связано с устным узусом. Что именно происходило в устном узусе, прямой реконструкции не поддается. Если такая реконструкция вообще возможна, то необходимой предпосылкой для нее является реконструкция процессов, имевших место в различных письменных традициях, и прояснение общего вопроса о том, как различные регистры устного языка (устный диалог, устный нарратив) соотносятся с регистрами языка письменного. Типология такого рода соотношений требует привлечения разнообразного материала, отражающего как различные национальные культурные традиции, так и различные уровни языка.

11. Взаимодействие традиций. Другим типом изменения является влияние одной традиции (одной линии преемственности) на другую. Те трафареты, которые закрепились в одной из традиций, могут расширять сферу своего функционирования, переноситься в другие традиции и постепенно укореняться в них. Отдельные инновации могут постепенно распространиться на все существующие в данном языковом коллективе традиции и в этом случае переходить из сферы вариаций внутри отдельной традиции или черт, противопоставляющих разные традиции (интерфункциональных вариаций), в сферу характеристик, определяющих язык в целом. Такого рода изменения происходят в силу причин, не имманентных для языковой деятельности как таковой. Например, заимствование трафарета из одной традиции в другую может быть обусловлено социальными характеристиками взаимодействующих традиций (традиция–донатор обладает большим престижем). Действующим фактором может быть и изменение дискурсивных характеристик или риторических стратегий в одной из традиций под влиянием другой, например, в истории русской книжности сказания о чудотворных иконах, примыкающие к агиографии, могут усваивать некоторые трафареты делового языка, поскольку признание иконы чудотворной сопровождалось официальным дознанием, отражавшемся в деловых документах, инкорпорируемых в переработанном виде в сказания.

Хорошим примером взаимодействия различных письменных традиций может служить Житие пророка Аввакума. Обычно неоднородность в языке этого памятника описывается как столкновение русского (разговорного) и церковнославянского (книжного) языков [Виноградов 1938: 34–41], соотношенное с оппозицией религиозного и бытового начал и выполняющее отчетливо концептуализированное стилистическое задание. Представляется, что дело обстоит сложнее и не сводится к оппозиции двух языков, как бы ее себе ни представлять. Риторическая стратегия Аввакума, одновременно отождествляющая автора с Христом, подчеркивающая его (автора) земное уничижение и отсылающая к образцам мученической святости, побуждает его скрещивать различные регистры (письменные традиции), соединяя элементы библейской канонической традиции и с традицией русской агиографии, использующей гибридный церковнославянский, и с традициями устной (фольклорной) культуры. Параллельным примером, показывающим, что речь идет именно о сознательном скрещении различных традиций, а не о переключениях с одного языка на другой, могут служить "Страды" Кондратия Селиванова, основателя скопческой ереси, реализующих аналогичную риторическую стратегию. Достаточно рассмотреть один лишь вводный пассаж этого сочинения: "Воз-

любленные вы мои детушки и други вы мои сердечные, прошу вас обратить внимание свое с усердием *во глаголы уст моих*, и что я вам при сем первом пункте хочу объявить, что истинный Отец ваш Искупитель Сими цветами себя украсил до восприятия на себя огненной короны, и до налитой мне Отцом моим Небесным чаши высокопремудраго учения и сладчайшаго питья. До *восшествия на крестный престол* и до *восприятия на главу* огненной короны послал я на все четыре стороны детушкам своим сильной обороны, чтобы их вовсе не склевали вороны. И я сам себя не жалел, а детушек своих все лелеял, не словами и не языком, за них отвечал и *изнурением своей пречистой плоти* и разным похождением и действительным страданием" [Селиванов 1872: 142–143]. Селиванов уже в этих нескольких фразах успевает употребить элементы, сигнализирующие о диапазоне совмещаемых традиций. Отмеченные курсивом элементы могут рассматриваться как отсылка к церковнославянской евангельской традиции. Внутренняя рифма отчетливо указывает на фольклорную традицию (равно как фразеологизмы типа "послал я на все четыре стороны"), а такие выражения, как "прошу вас обратить внимание" или "при сем первом пункте хочу объявить", явно восходят к языку официальных документов, который, видимо, воспринимается Селивановым как язык элитарной культуры, соответствующий его претензиям на роль мифологического царя Петра Федоровича. Можно заметить, что в подобном контексте появляются и новые варианты значения у лексем *похождение* или *действительный*, встречающиеся в сектантских сочинениях и впоследствии. Таким образом, при скрещении различных традиций элементы одной традиции переходят в другую и создают вариативность, которая служит основой для последующих языковых изменений.

12. Вариативность, изменение языка и узус. Теперь мы можем вновь обратиться к тому, как изменяется язык и какова цель этих изменений. Изменчивость не имманентна для языка, и никакая целенаправленная динамика языку не присуща. Вместе с тем для языкового узуса имманентна вариативность. Она, видимо, может возникать в силу разных причин, но присутствует в любых условиях и при любом типе языка. Элементарный случай вариативности возникает в силу того, что речь разных членов языкового коллектива полностью не совпадает, и эти несовпадения могут становиться предметом оценки и подражания, что переводит их из разряда индивидуальных отклонений в разряд социально значимых черт языкового поведения. Каков бы ни был источник вариативности, она всегда обладает функциональным потенциалом, т.е. всегда возможно наделение вариантов определенной значимостью: они могут дифференцироваться семантически или стилистически, могут закрепляться в разных речевых традициях и т.д. Стремление дифференцировать варианты создает телеологический момент в языковой деятельности, однако этот момент существует не на уровне глобальных преобразований системы, а на микроуровне: узуса, ограниченного определенной ситуацией и определенной традицией. Глобальные изменения возникают как итог многочисленных (и отнюдь не однонаправленных) частных изменений в использовании вариантов. Такого рода частные изменения прекращаются не тогда, когда достигают некоторой предустановленной цели, а когда один из вариантов окончательно выходит из употребления или закрепляется как примета какой-либо периферийной языковой традиции, противопоставляющей ее всему остальному языковому узусу. Таким образом, вариативность может рассматриваться как способ существования языка, а изменения – как конвенциализация использования тех или иных вариантов.

Итак, ставя вопрос об изменениях в языке или, точнее, об изменчивости языка, мы приходим к необходимости пересмотра основных представлений о природе и функционировании языка. Вместо дихотомии языка и речи, отделяющей узус от системы и утверждающей язык (т.е. систему) в качестве первичного объекта лингвистического описания, в рамках предлагаемого подхода основное место занимает узус. Узус усваивается носителем как целостное знание, которое включает в себя и знания собственно лингвистического характера, и определенную классификацию речевых ситуаций, соотносимую с подходящим для каждой из ситуаций набором средств выражения, и общие принципы употребления этих средств, позволяющие экстраполировать их на ситуации, не предусмотренные исходной (усвоенной) классификацией. Эти возможности экстраполяции не предопределяют результат (порожденную речевую последовательность) однозначным образом, но создают пространство вариативности, ту сферу инноваций, которая продуцирует языковые изменения.

Отсюда ясно, что узус неоднороден: одни элементы в нем стабильны, другие динамичны, а третьи располагаются между этими двумя полюсами. Общей (принципиальной, структурной) неоднородности узуса соответствует и его социальная неоднородность. У разных социальных групп узус различен, а в силу того, что носитель не прикован к какой-либо одной социальной группе, он в своей языковой деятельности может отождествлять себя с разными группами (множественная идентичность носителя). Таким образом, узус отдельного носителя соединяет в себе неоднородный набор усвоенных им узусов, набор регистров, между которыми он может выбирать. Эти регистры не отделены друг от друга непроницаемыми границами, так что сферой языковой динамики (возникновения вариативности) оказываются те ситуации, в которых участники коммуникации не могут однозначно определить подходящий регистр: говорящий порождает элементы промежуточного характера, приспособляясь к новому коммуникативному заданию, а слушающий воспринимает порожденный текст на основе тех же усвоенных навыков и сталкивается с аналогичными трудностями в определении значимости промежуточных элементов. Именно эти ситуации наиболее интересны для анализа, поскольку в них раскрывается реальный механизм изменений. Здесь параметры языковой динамики оказываются непосредственно связанными с параметрами социальной инновативности, что и сообщает истории языка статус социокультурной дисциплины, соответствующий социальной природе языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Виноградов В.В. 1938 – Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв. 2-е. изд. М., 1938.
- Живов В.М. 1995 – Usus scribendi. Простые претериты у летописца-самоучки // *Rling*. 1995. № 1.
- Зализняк А.А. 1987 – Текстовая структура древненовгородских писем на бересте // *Исследования по структуре текста*. М.
- Крысько В.Б. 1994 – Развитие категории одушевленности в истории русского языка. М., 1994.
- Падучева Е.В. 1996 – Семантические исследования. М., 1996.
- Селиванов К. 1872 – Страданий света, истинного Государя Батюшки, странствований и трудов дражайшего нашего Искупителя и Вселенского Учителя Оглашение // *Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских*. Кн. 3: Смесь. 1872.
- Тимберлейк А. 1996 – Вкусить от древа познания и убояться: вариативность в развитии винительного-родительного падежа (По поводу книги Крысько В.Б. Развитие категории одушевленности в истории русского языка) // *ВЯ*. 1996. № 5.
- Andersen H. 1978 – Perceptual and conceptual factors in abductive innovations // *Recent developments in historical phonology* / Ed. by J. Fisiak. The Hague, 1978.
- Franklin S. 1985 – Literacy and documentation in early medieval Russia // *Speculum*. V. 40. 1985.
- Klenin E. 1993 – The Perfect tense in the Laurentian manuscript of 1377 // *American contributions to the Eleventh International congress of slavists*. Bratislava, August–September 1993. Literature. Linguistics. Poetics / Ed. by R.A. Maguire and A. Timberlake. Columbus, 1993.
- Kuryłowicz J. 1960 – La notion de l'isomorphisme // *Kuryłowicz J. Esquisses linguistiques*. Wrocław; Kraków, 1960.
- Labov W. 1963 – The social motivation of sound change // *Word*. V. 19. 1963.
- Lyons J. 1978 – *Semantics*. V. I–II. Cambridge, 1978.
- Thomas B. 1989 – Differences of sex and sects: Linguistic variation and social network in a Welsh mining village // *Women in their speech communities* / Ed. by J. Coates and D. Cameron. London, 1989.